

«Как мало изменилась Расея...»  
Из записок о Достоевском

«Игрок»

Первой вещью Достоевского, которую я прочел мальчиком, была повесть «Игрок» в павленковском издании, еще прижизненном, года 1879-го, что ли. Достоевский мог еще перегнуть собственным пальцем написанную этими же пальцами страстную, поспешную, казалось бы, книгу. «Игрок» продиктован в 10 дней. Но не было поспешности в словесной ткани «Игрока». Она была таким же чудом гения, подчиненным музыкальному ключу, со своим собственным ритмом, напоминающим ритмы «Пиковой дамы».

Да, Достоевский взял классический сюжет, превратил графиню в княгиню, Германна назвал Алексеем, Полиной сделал хорошо ему известную Лизу Пушкина. Все было по старой схеме, «Пиковая дама» на современном языке. Искать другой сюжет было некогда, и Достоевский воспользовался «Пиковой дамой». Роман, повесть — как это все назвать? Нужна страсть, чтобы использовать знание личное.

«Введение»

Двести кратких, почти телеграфных, гениальных строк «Введения» к «Запискам из Мертвого дома» имеют особенное значение в судьбе литературной дороги писателя, намечают пути, оглядываясь назад на последние 10 лет.

Здесь краткое подведение итогов, краткий план, вехи дальнейшего пути. Нетрудно видеть, что «Введение» написано много уже после событий «Мертвого дома», ибо из-за тюремной решетки Омской каторжной тюрьмы нельзя было рассмотреть Сибири, так что Сибирь «Введения» — это и семипалатинские впечатления.

«Записки из Мертвого дома» принесли отказ от взглядов. Нетрудно понять, что никакого отказа от прежних взглядов тут нет. Тут искание какого-то легального пути, где можно найти выход — пусть искаженный, извращенный — той бури, которая бушует в мозгу и сердце гения. Эти двести строк безупречны стилистически, но не в стилистике тут было дело. Тут было дело в краткой характеристике края, его нравственных законов, его природы. Вот первый абзац: «В отдаленных краях Сибири...»

Разве это не характеристика Колымы? Конечно, в Восточной Сибири тундра, но это на Колыме служат чрезвычайно. Это до последнего времени известно. Недаром говорят о колымском длинном рубле для умеющих разрешить загадку жизни. Разве это не картина застолья Азбукина, заместителя начальника Юго-Западного горного управления? По 20 человек садилось за стол, а ведь Азбукин получал пусть 10 тысяч в месяц, но яблоко там стоило 100 рублей. К этому добавлялась контрабандная продажа табаку. В пачке колымской, которую дневальник Азбукина по 5 рублей за папиросу продавал, выходит на 80 папирос. Продавал в розницу в арестантском бараке тем же нищим, которые считали такую покупку за счастье, ибо Азбукину из Москвы возили махорку, а не вылежанный на воинских складах, потерявший все качества табак. Даже дичь, которая летает по улицам, не такое уж преувеличение для Западной и для Восточной Сибири. В перелетах гусь — легкая дичь, небо покрыто птицей, и охот-

нику остается только стрелять. Да что перелет, глухари перебегают дорогу-шоссе, главную трассу, попадают под машины. Конвой, который вез наш этап, питался глухарями. Остановит машину, выстрелит из винтовки, отвернет голову, чтоб на остановке зажарить его прямо в перьях в костре, обмазав глиной. Жир не вытекает. Лопнет глиняная корочка — поели, и можно опять гнать этап. Так было в нашем этапе в августе 1937-го года. Что же говорить, что было в Сибири Западной, да еще 100 лет назад.

## Омск

Омская классическая арестантская транзитка — санпропускник военный необычайной производительности, быстрого обслуживания — души, души. Для солдат по два, для арестантов по десяти человек на душ — я при своем высоком росте никак не проигрываю, в бане не слежу, чтобы меня обделили водой, чтоб только кусочек мыла из рук не вырвали. Но Сибирь далеко еще от Колымы, кусочек мыла здесь суют в руку, как рекруту. Омск — это город Достоевского, город его каторги, а в наше время лучший санпропускник, лучше бутырского, лучше магаданского, первая и последняя точки нашего вагонного пути. От Омска после Достоевского никто ничего и не ждет, кроме каторги, и действительно обслуживание в Омске образцовое. Уже к обеду мы, прошедшие душ, строились, но, как ни налажено солдатское колесо, арестантский путь все же труднее, медленнее. Мы сидим, лежим, вернее, под скудным омским солнцем в яснейший из ясных, ясный день. Редкое солнце указывает, как много мы сидели в тюрьме, как плохо нас кормили и как долго длится наш вагонный путь. Хлеба по пути купить нельзя, деньги у нас отобраны при отъезде из Бутырки и навсегда исчезли, списанные с наших счетов, — как, кому это все досталось, какому-нибудь клубу НКВД списано — этого мы никогда не узнаем. Но подкожная клетчатка, жировая прослойка давно исчезла — в очереди сидят скелеты, раскрытые рубашки показывают белеющую мертвую кожу, которую слабое омское солнце не в силах согреть и обжечь.

Наш этап — три тысячи человек из московских тюрем отбывают с Красной Пресни — новой, любимой Сталиным тюрьмы — в начале июля 1937-го года, точно не помню, а помню, что осужден 3 июня Особым совещанием под председательством Ежова на 5 лет концентрационных лагерей с отбыванием срока на Колыме и лишением права переписки. Большой протокол <спущен> для нашего брата.

На прииск «Партизан» Северного горного управления нас привезли 20 августа. Но до этого была пересылка в Магадане, текли дожди круглые сутки. Холодные тучи опоясали скалы — бредовый сон, из которого мы и не пытались вырваться, чтобы не встретиться с явью еще хуже — трое суток работы на трассе в бухте Веселой, бесконечные трудности, когда не знаешь, что лучше: ходить на работу, ползти на работу или лежать под окриками и толчками. Я — ходил.

Вот в этом промежутке вагонном — 9 августа нас выгрузили из вагонов во Владивостоке и ночи две томили за проволокой зоны, которая <была> расчерчена для тогдашнего транзита. Значит, Омск был где-то между 1-м июля и 20-м августа. Дорога паромом — лучший, оптимальный вариант. Пять дней у нас не было ни шторма, ни ошибок в курсе, ни бунтов. Еще бы, троцкисты — это овцы, бунтовали на пароходе только блатари или если из 58-й статьи, то после войны, когда ясно обозначилось, чем была Колыма в 1937-м году.

Значит, 5 суток морского круиза лучшего качества, сорок пять дней железной дороги, тоже все по графику, по строгому плану, а уже 14 августа были сгружены в Магадане. Когда же был Омск? Омск я вспомнил не потому, что там жил Достоевский. Причины вспомнить Омск — иные.

У нашего эшелона был свой правительственный комиссар, в чине, впрочем, небольшом, всего старшего лейтенанта. В новенькой серо-голубой шерстяной форме, явно по заказу, чтобы упрятать под ремень толстое пузо — бледнокожий, толстый, с одутловатым лицом, с

кожей, похожей на нашу, тоже от сиденья взаперти, в кабинетах, в камерах и тюрьмах. В фуражке с большим козырьком, где было укреплено золотое шитье эсесовского типа. Старший лейтенант являлся еще на Красной Пресне, отметный бездельем своим, плавным движением среди всеобщей суеты, посадки в вагоны. Это к нему подбегали какие-то лица за распоряжениями явно постороннего характера, ибо старший лейтенант на немой вопрос конвоира, начальника конвоя отмахивался крест-накрест, что-то решительно запрещая. Потом я узнал, что приносили какие-то передачи, посылки. В какой тайне ни отправляют арестантов, кто-то узнает, успеваешь предупредить родных. Но ни посылки, ни денег в дорогу нам не давали, было запрещено, и последней надеждой какой-то матери, отца, жены, брата, невесты было вручить, сунуть при отправке, сердце, дескать, смягчится. Но сердце старшего лейтенанта не смягчалось, и посылку не взяли. Я тогда еще заметил эту фигуру. Видел я сквозь решетку, как старший лейтенант двигался по перрону вдоль эшелона и белейшим платочком не то отбивал вагонную вонь, не то давал какой-то сигнал движению.

И вот в Омске среди сотен пар, отсчитанных заранее по числу мест под душем и посаженных по-транзитному экономно, колено в колено, старший лейтенант снова появился и, шагая бесстрашно через колени арестантов, двинулся, двинулся прямо ко мне. Я был поражен. Глядел, как кролик в глаза удава. Жирное это громадное тело шагало через скелеты, приближалось и приближалось ко мне. Что меня может спросить комиссар нашего поезда? Что было во мне такое, что остановило на мне взгляд удава? В паре со мной, колено в колено, сидел на корточках Колька Иванов — колонист из Болшевской коммуны, КРТД — пять и пять. Оказывается, старший лейтенант двигался именно к нашей паре, только не ко мне, а к моему напарнику из Болшева, вся грудь которого была наколота по всем правилам законного блатарского канона. Татуировка и привлекла внимание старлейта.

— А ты как попал сюда?

— Я, гражданин начальник, — Иван подскочил, встал смирно. — Из Болшевской коммуны.

— А-а, я думал, с ними.

— Не с ними, я по ошибке.

— Жалко тебя.

У старшего лейтенанта чесался язык, и он решил произнести речь, а может быть, провести воспитательную работу, хоть самый минимум — техминимум, как говорили в те времена. Вонь арестантских тел ветер принес в тонкие ноздри лейтенанта. Я еще раньше заметил, что старший лейтенант движется вдоль рядов, как дожидаясь какой-то волны, какого-то просвета, ибо вместо противогаза у лейтенанта был только намоченный дорогим одеколоном платок. Старлейт отдышался, перевел дух, зажал ноздри платком и, когда волна вони схлынула, приступил к речи.

— Я знакомился с делами вашего этапа, незавидная участь вас ждет. Но, если бы спросили меня в Москве перед вашей отправкой, я бы не посоветовал отправлять вас на Колыму. Там вам не место, никаким трудом вам не искупить вины. Если бы спросили меня еще в Москве, что с вами делать, я бы посоветовал отправить вас не на Колыму, где вы, может быть, еще и не умрете, а завезти на остров Врангеля, высадить там и отрезать подвоз продовольствия.

Старший лейтенант хохотал, снова поймал волну воздуха почище и, зажав свой рот, нырнул куда-то в сторону. Много было таких развлечений у начальства в эти годы.

В июле 1937 года я вступил на землю Омска, города, в котором отбыл свои четыре каторжных года Достоевский. Конечно, Омская каторжная тюрьма, ее режим много уступал и Вишере, которая была за моими плечами в 29-31 годах. Вишера была каторжным лагерем наподобие Сахалина. На Вишере бывали и потомственные «ротские» — те рецидивисты, отбывавшие еще арестантские роты в царское время. Таких большинство из уголовников 20-х годов. Но были два человека, которые назывались каторжанчики. Так называли тех, которые отбывали еще Сахалинскую каторгу, или Акатуй, или Амурскую колесуху. Не то, что это были

какие-нибудь лидеры, авторитеты «людей», «уркаганов». Закон <случайностей> действовал всегда, и нельзя судить по величине срока о величине вины. И в царское время — наиболее справедливое время — в русское десятилетие 1907-1917 годов во время массовых волнений удары государство всегда наносило лишь вслепую, с плеча, без разбору. В советское же время самый принцип отсутствия вины с заменой его государственной целесообразностью исключал возможность разбирать, кто в чем виноват. Просто кличкой «каторжанчик» в лагере отмечался человек «уркаган», попавший на Сахалин.

После Омска колеса крутились быстрее, каторжная моя дорога вела к Владивостоку, к морю, к Магадану, к Колыме. Колыма же золотая была тогда лагерем уничтожения и в этой роли верно служила Сталину до самой его смерти.

Конечно, в Омске в этапе я разглядывал жирное лицо комиссара нашего поезда, старлейта НКВД, не очень обращая внимание на его вызывающие речи насчет острова Врангеля. Но все же ощущалось именно так, как предрекал старлейт на земле Достоевского в Омске.

Колыма не была Мертвым домом, Колыма была лагерем уничтожения.

## В Твери

Я такой же суеверный человек, как Достоевский, и придаю большое значение совпадению наших судеб, дат. Достоевский отбыл 4 года в Омской каторжной тюрьме с 1849 по 1853 год и 6 лет рядовым в семипалатинском батальоне. Достоевский был в Западной Сибири, в Омске, я — в Восточной, на Колыме. Я приехал отбывать пятилетний срок на Колыму в августе 37-го года, а получил новый — 10 лет — в 1943 году и освободился по зачетам рабочих дней в октябре 1951 года. На большую землю выехал года через два, в ноябре 1953 года. До реабилитации жил в Тверской губернии, до октября 1956 года. Биография обязывает.

Давним моим желанием было написать комментарий к «Запискам из Мертвого дома». Я эту книжку держал в руках, читал и думал над ней летом 1949 года, работая фельдшером на лесной командировке. Дал я себе тогда и неосторожное обещание разоблачить, если так можно сказать, наивность «Записок из Мертвого дома», всю их литературность, всю их «устарелость».

Но в «Записках из Мертвого дома» есть и кое-что вечное. Как мало изменилась Расея. Если вы помните, основной вывод Достоевского из «Записок» — это то, что человек ко всему привыкает. Это правильно с тем дополнением, что границы привыкания нет, унижения, издевательства бесконечны. Физические и моральные страдания, пережитые людьми, во много раз больше, чем это удалось видеть Достоевскому. Правда, в каторге Достоевского нет уголовного рецидива — это снижает, облегчает. Такие Газин или Петров для уркачей ничем не лучше Горянчикова — все они фраера, объект издевательств. Что изменилось за сто лет? А что осталось, вероятно, это вечное свойство человека.

<1970-е годы>

Публикация И. П. СИРОТИНСКОЙ